
Юлия Веляева
Императрица Чосона

Юлия Веляева

Императрица Чосона

«Автор»
2026

Веляева Ю.

Императрица Чосона / Ю. Веляева — «Автор», 2026

В романе «Императрица Чосона» разворачивается напряжённая драма в эпоху Чосон, где судьба государства решается не в битвах, а в тиши дворцовых покоев. Юный император Ван Ю оказывается пешкой в игре кланов: ради хрупкого мира его женят на кроткой принцессе Арым, хотя сердце его отдано непокорной наложнице Бора. Перед Ван Ю встаёт мучительный выбор между долгом перед страной и зовом сердца — и каждый его шаг грозит опасностью: за вежливыми поклонами зреют заговоры, за тихими разговорами прячутся доносы. Арым ищет свой путь в мире, где женщине дозволено лишь молчать, а Бора решается на отчаянный шаг, способный изменить судьбу трёх людей и целого государства. Роман раскрывает цену мира, показывает, как власть требует жертв, а чувства бросают вызов традициям, погружая читателя в атмосферу чосонского дворца с его этикетом, интригами и скрытыми страстями.

© Веляева Ю., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Предисловие 5
Глава 1. Два дракона под одной крышей 7
Конец ознакомительного фрагмента. 38

Юлия Веляева
Императрица Чосона

Предисловие

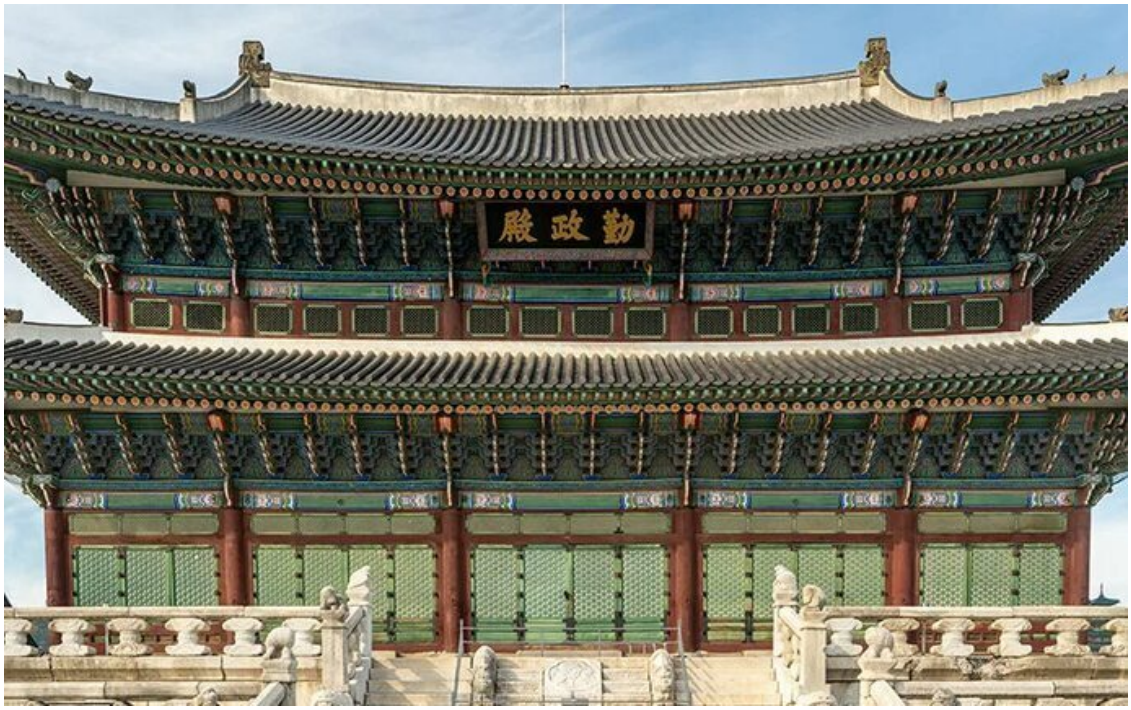
Эпоха Чосон — время строгих ритуалов, нерушимых традиций и власти, которая держится на хрупком равновесии между долгом и желанием. В дворцовых стенах каждое слово взвешивают, каждый жест выверяют, а чувства прячут за шёлковыми рукавами и опущенными взглядами. Здесь судьба человека — не его собственная, а часть большого узора, который плетут советники, кланы и соседние государства.

Именно в такую пору на престол взошёл молодой император Ван Ю. Ему едва исполнилось восемнадцать, а на плечи уже легла тяжесть решений, от которых зависели жизни тысяч людей. Его путь к трону был вымощен компромиссами: чтобы прекратить многолетнюю войну, истощавшую и его государство, и земли соседей, был заключён династический брак. Невестой стала юная принцесса.

Невестой стала юная принцесса Арым — тихая, воспитанная в духе безупречной добродетели, она с детства знала, что её долг — служить миру между народами.

Но сердце Ван Ю принадлежало другой. Ещё до коронации он полюбил Бора — наложницу из придворного дома, девушку с острым умом и смелым взглядом, в котором не было покорности, но была искренность, так редко встречавшаяся в дворцовых покоях. Их связь оставалась тайной, хранимой в полумраке ночных коридоров и в коротких записках, спрятанных в складках одежды. Любовь эта была не просто запретной — она казалась вызовом самой судьбе, ведь долг императора требовал отречения от личных чувств.

Этот роман — о том, как трудно бывает примирить долг и сердце, о цене мира и о том, какой след оставляют в истории не громкие битвы, а тихие решения, принятые в одиночестве. Перед вами история Ван Ю, Арым и Бора — история, где каждый шаг вперёд оплачен чьей-то болью, а каждый миг счастья становится драгоценной тайной, которую хочется сберечь любой ценой.


勤政殿

Глава 1. Два дракона под одной крышей

Год Конного Дракона выдался тяжёлым для Чосона.

Старый император Ван Сон, двадцать третий государь династии Чосон, к тому времени уже едва вставал с ложа. Подглазья его почернели, пальцы ослабли настолько, что он не мог удержать кисть для каллиграфии, а воздух в покоях Тхэджон-джон пропитался запахом целебных отваров так густо, что слуги зажигали благовония в три ряда. Придворные лекари шептались в коридорах: его величество не переживёт зиму. Но даже полумёртвый, старый император продолжал держать в руках нити власти, и именно он, а не совет, решал, кому доверить будущее государства.

У него было три сына. Старший, Ван Хё, умер от лихорадки ещё мальчиком, не дожив до двенадцати лет. Средний, Ван Гон, с молодых лет прославился на южной границе и был любим военачальниками, но слишком явно тяготился придворными церемониями и слишком громко говорил о реформах, которые тревожили старые кланы.

Младший, Ван Ю, родился от наложницы клана Юн и вырос не в столице, а в загородном дворце Чхунджу, среди учителей, книг и тишины горных склонов. К тому времени, когда тень смерти легла на трон, ему исполнилось восемнадцать, и о нём при дворе говорили мало, как будто намеренно забывали.

Именно это забвение и спасло его.

Война с северным государством Цзинь длилась уже девятый год. Она началась как пограничный спор, разрослась в серию сражений и превратилась в язву, которая медленно истощала обе страны. Поселения на границе стояли пустыми, рисовые поля зарастали сорняком, а казна Чосона таяла, как снег в апреле.

Цзинь тоже устала: её всадники были сильны в поле, но не умели брать укреплённые города, а зимние кампании губили лошадей и людей. Каждая сторона искала выход, но ни одна не хотела уступать первой.

Перемирие предложил посол Цзинь, некий Соль Чжин, человек хитрый и осторожный, проведший при дворе Чосона уже три года. Он явился на тайную встречу не в парадных одеждах, а в простом халате, без свиты, и прошёл через сад павильона Кёнхе-ру, где его уже ждал первый министр Им Гван-джэ.

Им Гван-джэ был человеком, которого боялись больше, чем самого императора. Ему было за шестьдесят, волосы седые, спина прямая, а взгляд такой, что молодые чиновники опускали глаза. Он происходил из клана Им, одного из четырёх великих кланов, и держал в руках кадровые назначения, налоговую политику и доступ к императорскому уху.

Говорили, что ни одно решение во дворце не принималось без его молчаливого одобрения.

Соль Чжин сел напротив, поклонился неглубоко, как равный равному, и произнёс:

— Первый министр, мой государь устал от крови. Я думаю, вы тоже.

Им Гван-джэ не ответил сразу. Он медленно налил чай в две пиалы, пододвинул одну гостю и только тогда заговорил:

— Усталость — не повод для слабости. Что предлагает ваш государь?

— Брак, — сказал Соль Чжин. — У моего государя есть брат, принц Вон. Его дочь, принцесса Арым, сейчас семь лет. У вашего императора, насколько мне известно, есть сын, которому столько же. Девять лет, если не ошибаюсь?

— Не ошибаетесь, — подтвердил Им Гван-джэ.

Им Гван-джэ, и в его голосе не было ни удивления, ни радости, как будто он уже знал, что услышит.

— Дети растут, — продолжил Соль Чжин. — Пока они подрастут, мы заключаем перемирие. Когда принцессе исполнится шестнадцать, сыграем свадьбу. К тому времени война забудется, торговля восстановится, и два государства станут роднёй, а не врагами. Разве это не то, чего хотят оба трона?

Им Гван-джэ поднял пиалу, сделал глоток. Чай был горьковатый, из северных трав, непривычный.

— А если ваш принц Вон передумает? Сколько стоят обещания, данные через чайную пиалу?

Соль Чжин улыбнулся, и улыбка его была похожа на трещину на старом фарфоре.

Старый император сидел в полумраке зала, опираясь на резной посох из чёрного дерева. Его лицо, изборождённое морщинами, казалось высеченным из камня — столько лет он нёс тяжесть трона. Когда Им Гван-джэ закончил говорить, в зале повисла тишина, нарушаемая лишь тихим шорохом шёлковых занавесей, колеблемых сквозняком.

— Значит, они хотят связать нас кровью, — пробормотал император, не глядя на министра. — Не мечом, а брачным узлом.

— Так будет надёжнее, — спокойно ответил Им Гван-джэ. — Если принцесса вырастет в нашем дворце, её сердце станет нашим. А если союз рухнет — мы будем знать, что опасность зрела у нас на глазах.

Император медленно поднял голову, и в его потускневших глазах мелькнуло что-то, похожее на усталую мудрость.

— Ты всегда видел дальше других, Гван-джэ. Скажи… а если это ловушка? Если они надеются, что ребёнок станет ключом к нашим стенам?

— Тогда мы сделаем так, чтобы она стала ключом к их стенам, — без колебаний произнёс министр. — Мы воспитаем её в наших традициях, в нашей вере, в нашей преданности. И когда придёт время, она будет не чужой.

Долгое мгновение император смотрел на него, словно пытаясь прочесть в лице министра то, что тот не сказал вслух. Наконец он кивнул — едва заметно, почти неощутимо.

— Пусть будет так. Подготовь договор. Но пусть в нём будет пункт: каждый год мы будем получать отчёт о её здоровье, её уроках, её мыслях. Я хочу знать, что с ней происходит, день за днём.

— Будет исполнено, — склонил голову Им Гван-джэ.

Когда министр вышел из зала, тяжёлые двери закрылись за ним с глухим стуком, похожим на удар колокола. Где-то в глубине дворца звенели колокольчики на ветру, а в саду, у пруда, карп снова ударил хвостом по воде — будто ставил невидимую печать на только что заключённую, ещё не написанную на бумаге сделку.

Тишина в покоях стала почти осязаемой — только изредка слышался скрип пера, когда лекарь, не поднимая головы, будто бы вносил в свиток несуществующие строки. Император снова прикрыл глаза, но теперь в его лице не было ни усталости, ни усмешки — лишь тяжёлая сосредоточенность человека, который взвешивает не судьбы, а камни: каждый слишком тяжёл, чтобы бросить без расчёта.

— Чистый лист… — пробормотал он, словно пробуя слова на вкус, и пальцы его, тонкие и сухие, чуть сжались на подлокотнике кресла. — А разве бывает так, чтобы человек не нёс на себе ни тени прошлого? Даже младенец приходит в мир с кровью рода, с именем, с долгом, который ему уже успели навязать до первого крика.

Им Гван-джэ не спешил отвечать. Он стоял прямо, не склоняясь, но и не нарушая границ почтительности — ровно настолько, чтобы показать: он не проситель, а тот, кто держит в руках нити, способные стянуть или разорвать узор всей империи.

— Бывает, ваше величество, — наконец произнёс он спокойно. — Когда род не делает на него ставки. Ван Ю — младший. Его не учили править, не водили к военачальникам, не знакомили с послами. Его растили как украшение двора — вежливого, незаметного, удобного. Именно поэтому он не связан ни клятвами, ни ожиданиями. Для Цзинь он будет не угрозой, а подарком. А для нас — ключом, который не сломается в замке.

Император медленно повернул голову, будто каждое движение давалось ему с трудом.

— А если ключ повернётся не в ту сторону? Если Цзинь воспитает его как своего?

— Тогда мы будем знать, что он стал чужим, задолго до того, как он поднимет меч, — ответил министр без колебаний. — Мы будем получать отчёты о каждом его шаге. И если тень падёт на его сердце — мы успеем её рассеять. Или убрать его с доски.

На мгновение в комнате снова повисла тишина, но теперь она была иной — не тяжёлой, а острой, как лезвие перед ударом. Император вздохнул, и этот вздох прозвучал как согласие, ещё не произнесённое вслух.

— Пусть будет так, — прошептал он наконец, не глядя ни на министра, ни на лекаря, будто обращаясь к теням предков, витавшим в полумраке покоев. — Подготовь бумаги. Но помни: пока этот мальчик — наш. И пока он наш, ни один волосок не должен упасть с его головы по чужой воле.

Им Гван-джэ склонил голову — не в поклоне, а в признании долга, который он сам на себя возложил.

— Будет исполнено, ваше величество.

— Чистый лист, — повторил император. — А чистый лист — это хорошо для трона, первый министр? Или это просто удобно для тебя?

Им Гван-джэ поклонился, но не ответил. В тишине снова прозвучал далёкий плеск карпа.

— Привезите девочку, — сказал наконец Ван Сон. — Пусть растёт здесь. Я хочу видеть её, прежде чем умру. Хочу знать, на что променяю судьбу моего сына.

Через месяц принцессу Арым привезли в столицу. Её сопровождала свита из двенадцати человек: няня, служанка, чиновник цзиньского двора, который передал официальное письмо и тут же уехал обратно, как будто боялся, что передумают. Девочка была маленькая, с тонкими косичками и серьгами из белого нефрита. Она стояла у ворот дворца Чханнён, смотрела на незнакомые крыши, на стражников в красных халатах…

Солнце уже клонилось к закату, окрашивая черепичные крыши дворца в цвет старого золота. Принцесса Арым всё так же стояла у ворот — не плакала, не жалась к няне, только чуть вздрагивала, когда ветер теребил её тонкие косички. В серьгах из белого нефрита, казалось, застыли последние отблески дня.

К ней неспешно подошёл пожилой евнух в тёмно-синем халате — шаги его были почти беззвучны, будто он боялся спугнуть девочку, как дикого птенца.

— Ваше высочество, — проговорил он мягко, склоняясь в неглубоком поклоне. — Дворец Чханнён рад принять вас. Позвольте проводить вас в покои, где уже всё готово. Там тепло, и там никто не причинит вам зла.

Арым медленно подняла глаза — они были тёмные, почти чёрные, и в них не было ни детской обиды, ни страха, а скорее упрямое, взрослое любопытство.

— А мой брат будет здесь? — спросила она тихо, так тихо, что евнух едва расслышал её за шелестом листвы и далёким криком птицы.

Евнух на мгновение замешкался, подбирая слова, чтобы не солгать и не ранить.

— Не сейчас, ваше высочество. Но он приедет, когда станет можно. А пока вы будете расти под защитой нашего императора. Он сам пожелал видеть вас здесь.

Девочка чуть кивнула, будто приняла это как должное — как принимают дождь или смену времён года.

— Тогда я пойду, — сказала она просто и сделала первый шаг через порог, отделявший её прежнюю жизнь от той, что ждала её за высокими стенами дворца.

Няня тихо всхлипнула и поспешила следом, сжимая в руках вышитый платок. Служанка и остальные из свиты переглянулись — в их взглядах читалась тревога, смешанная с облегчением: долг был исполнен, девочка передана, а что будет дальше — знали только боги и те, кто вершил судьбы в тиши тронного зала.

Внутри дворца пахло сандалом и сухими травами, а коридоры, уходившие в полумрак, казались бесконечными. Арым шла по ним, не оглядываясь, будто уже знала: назад дороги нет, а впереди — то, что ей суждено.

Она смотрела на деревья, которых не было у неё на родине, и не плакала. Она только сжала в кулачке ленточку от косички так крепко, что пальцы побелели.

Им Гван-джэ встретил её лично. Он наклонился к ней и сказал мягко, голосом, которого никто при дворе никогда не слышал:

— Добро пожаловать домой, маленькая принцесса.

Арым посмотрела на него снизу-вверх и ответила с серьёзностью, которая поразила старого министра:

— Это не мой дом. Но я буду стараться, чтобы он стал им.

Им Гван-джэ выпрямился и подумал: «Она ещё ребёнок, а уже говорит, как взрослая. Это хорошо. Или страшно».

Её поселили во дворце Токсу, в восточном крыле, под присмотром старшей придворной дамы.

Госпожи Пак, женщины строгой и преданной, которая умела вырастить из девочки государыню. Арым должна была учиться языку Чосона, каллиграфии, придворному этикету, поэзии и управлению домом. Ей предстояло прожить здесь девять лет, прежде чем она станет женой императора, которого ещё ни разу не видела.

Сам Ван Ю узнал о помолвке не от отца и не от министра. Ему сообщил учитель, старый конфуцианец по имени Ким Сок, который преподавал ему «Анналы весны и осени» и который, видимо, считал, что государственные дела можно изучать наравне с классикой.

— Ваше высочество, — сказал Ким Сок, закрывая свиток, — я слышал, ваш отец принял решение о вашей женитьбе.

Ван Ю сидел на полу, скрестив ноги, и перечитывал стихи Ли Тэ-бэка. Ему было девять лет, но читал он с таким увлечением, будто ему было тридцать, и он уже многое повидал.

-Ваше Величество вы женитесь.

— На ком? — спросил он.

— На принцессе из Цзинь. Ей семь лет. Её зовут Арым.

Ван Ю помолчал. Потом спросил:

— Я знаю её?

— Нет, ваше высочество. Вы не знакомы.

— Тогда почему мне кажется, что меня продают?

Ким Сок посмотрел на своего ученика. Даже в девять лет этот мальчик задавал вопросы, от которых взрослые терялись. Но делал это так спокойно, что хотелось ответить честно.

— Вас не продают, — сказал учитель. — Вас… используют. Как используют камень при строительстве стены. Камень не спрашивают, хочет ли он лежать в основании. Но без него стена не устоит.

— Вас… используют. Как используют камень при строительстве стены. Камень не спрашивают, хочет ли он лежать у основания. Но без него стена рухнет.

Ван Ю закрыл свиток со стихами и посмотрел в окно. За ним открывался вид на горы Чхунджу, синие и далёкие, и на узкую тропу, которая вела вниз, в долину, где стояли крестьянские дома с соломенными крышами.

— А если камень хочет быть не у основания стены, а на вершине горы? — спросил он.

— Тогда он должен стать не камнем, а горой, — ответил Ким Сок.

Девять лет прошло, как один долгий вдох.

Арым выросла. Из угловатой девочки с тонкими косичками, превратилась в девушку, которую при дворе называли «нефритовой ветвью Цзинь» — и не только за красоту. К шестнадцати годам она овладела каллиграфией так, что её свитки висели в библиотеке дворца рядом с работами лучших мастеров. Она писала стихи на двух языках, знала наизусть «Книгу песен» и «Великое учение», разбиралась в придворном церемониале лучше любой рождённой во дворце дамы. Госпожа Пак, которая воспитала не одно поколение придворных женщин, говорила: «Принцесса Арым — единственная из всех, кого я учила, кто никогда не жаловалась. Она просто делала. И делала превосходно».

Но за этой безупречностью скрывалось то, что видели немногие. Арым выросла чужой. Девять лет в чужом дворце, среди чужих обычаев, под чужим присмотром — и всё это время она знала, зачем она здесь. Не ради учёбы, не ради знаний, не ради поэзии. Она была залогом ради поэзии. Она была залогом мира. Живой печатью на договоре, написанном девять лет назад в чайном павильоне. Каждый покрой её одежды, каждый завтрак, каждый урок напоминали ей об этом. Она выросла, понимая: её жизнь не принадлежит ей.

Однажды, за несколько месяцев до свадьбы, Арым сидела в саду павильона Хо Гён, где любила проводить часы после полудня. Она писала стихотворение — о журавле, который прилетает каждый год к одному и тому же озеру, но никогда не остаётся. Госпожа Пак подошла тихо и остановилась за её спиной.

— Ваше высочество, — сказала она, — вы пишете о журавле или о себе?

Арым не обернулась. Она обмакнула кисть и дописала последний иероглиф.

— Журавль хотя бы может улететь, — ответила она.

Госпожа Пак помолчала. Потом сказала осторожно:

— Свадьба через два месяца, ваше высочество. Его величество Ван Ю… вы ведь ни разу не встречались.

— Я знаю о нём всё, что нужно, — сказала Арым. — Мне докладывали. Восемнадцать лет, тих, начитан, не любит советников, любит горы. Женился бы на мне добровольно?

— Государь не всегда выбирает сам, ваше высочество.

— Вот именно, — сказала Арым и впервые за разговор обернулась. В её глазах не было ни обиды, ни страха — только спокойная горечь, как у человека, который давно всё понял и перестал сопротивляться. — Значит, нас двое, которые не выбирали. Это уже что-то общее.

Ван Ю взошёл на трон шесть месяцев назад, после того как старый император Ван Сон тихо ушёл ночью, во сне. Лекарь обнаружил это на рассвете, когда принёс утренний отвар. Дворец погрузился в ритуальный траур: белые полотна повесили на ворота, барабаны смолкли, музыка была запрещена на сто дней.

Ван Гон, средний брат, узнал о смерти отца первым. Он стоял у могильного холма матери на восточном холме, когда гонец принёс весть. По преданию, он не сказал ни слова, только снял шлем и долго смотрел на столицу, лежавшую внизу в утреннем тумане. Потом надел шлем обратно, сел на коня и поехал во дворец.

В тот же вечер состоялся тайный совет, на котором присутствовали Им Гван-джэ, командующий дворцовой стражей генерал О Тхэ-ён, трое старших советников и начальник придворной канцелярии. Ван Гона на совет не позвали.

— Наследник — Ван Ю, — сказал Им Гван-джэ, и голос его был ровным, как поверхность озера в безветрие. — Такова воля покойного императора.

Генерал О Тхэ-ён, рослый мужчина с шрамом на щеке, полученным в пограничной стычке пять лет назад, нахмурился.

— Юноша, который провёл детство в горах и ни разу не держал в руках меча серьёзнее учебного? Министр, армия не пойдёт за ним.

— Армия пойдёт за тем, кто платит, — ответил Им Гван-джэ. — А платит казна, а казну держу я. Вопрос не в том, за кем пойдёт армия. Вопрос в том, кто начнёт смуту.

— Ван Гон, — сказал один из советников, пожилой Чхве Мин, и назвал имя так тихо, как будто оно могло обжечь губы.

— Ван Гон — герой границы, — кивнул Им Гван-джэ. — Но герой границы не всегда хороший император. Он хочет перемен, которых старые кланы не примут. Он окружён офицерами, которые мечтают о войне, а нам нужен мир. Мир с Цзинь, мир внутри страны, мир, который даст нам время восстановить казну и рисовые поля. Ван Ю — тот, кто сохранит этот мир.

— А если Ван Гон не согласится? — спросил генерал О.

Им Гван-джэ посмотрел на него долгим взглядом.

— Вот поэтому, генерал, я прошу вас усилить стражу дворца. Не для войны. Для тишины.

Ван Гон не стал поднимать мятеж. Он приехал в столицу, преклонил колено перед младшим братом на церемонии восхождения и сказал голосом, который слышал весь двор:

— Я признаю государя Чосона. Пусть небо хранит его правление.

Все поняли, что это непокорность. Это пауза. Ван Гон выжидал, и пока он ждал, его люди занимали позиции: трое из пяти командующих приграничных гарнизонов были ему лично преданы, а начальник столичной стражи Чо Сон-хо приходился ему зятем. Им Гван-джэ видел это и молча подсчитывал: если Ван Гон ударит, удар будет не мечом, а терпением. Он будет ждать, пока Ван Ю ошибётся.

Сам Ван Ю приехал в столицу из Чхунджу на десятый день после смерти отца. Его провожали три всадника, и учитель Ким Сок. Дорога занимала два дня, но Ван Ю ехал медленно, как будто хотел оттянуть прибытие. Когда столица показалась за поворотом дороги, он остановил коня и долго смотрел на неё.

Ханян. Город, окружённый горами, с крышами черепичными и соломенными, с рекой Хан, блестевшей в лучах закатного солнца. Дворцовый комплекс Кёнбок, чьи многоярусные крыши поднимались над стенами, как каменные деревья. Город, который отныне будет его домом, его клеткой и его полем битвы.

Ким Сок остановился рядом.

— Боитесь, ваше высочество?

Ван Ю не ответил сразу. Потом сказал:

— Я читал, что когда дракон поднимается на небо, он сначала проходит через бурю. Учитель, будет ли буря?

— Всегда, ваше высочество. Вопрос лишь в том, выйдет ли из неё дракон или останется его шкура.

Ван Ю тронул поводья и поехал к воротам.

Церемония восхождения на трон прошла через двадцать дней после прибытия, в соответствии со всеми ритуалами и предписаниями. Ван Ю надел церемониальные одежды из тёмно-красного шёлка, расшитые золотыми драконами, и шапку с бусинами нефрита и яшмы. Он прошёл через зал Кынджон-джон, где собрался весь двор, медленно, ступая так ровно, как будто измерял каждый шаг, и поднялся к трону. Когда он сел, советники и чиновники, военачальники и учёные, стражники и слуги — все склонились перед ним. Все, кроме одного человека.

Ван Гон стоял у колонны, в тени, и не поклонился. Он только смотрел на младшего брата, и в его глазах не было ни злости, ни страха — только что-то похожее на жалость. Или, может быть, голод.

Ван Ю увидел его. Их взгляды встретились на одно мгновение, и молодой император понял: это не конец. Это только начало.

Арым смотрела на церемонию из-за ширмы в боковом павильоне, куда допускали женщин двора. Она видела, как незнакомый юноша в одеждах, расшитых драконами, поднялся к трону, и подумала: «Это мой будущий муж. Я прожила девять лет в этом дворце ради него и ещё не сказала ему ни слова».

Она не почувствовала ни трепета, ни отвращения — только любопытство, холодное и отстранённое, как наблюдение за незнакомой птицей в саду. «Он не выглядит жестоким», — подумала она. «Но добрые люди иногда совершают самые жестокие поступки. Особенно когда у них нет выбора».

Вечером, когда ритуалы закончились и дворец опустел, Ван Ю сидел в своих новых покоях, один, без слуг, без советников. Он снял корону и положил её на стол. Она была тяжёлой, не золотой, как думают многие, а из сплава золота и бронзы, и от долгого ношения на лбу остался красный след.

Через два месяца ему предстояло жениться. На девушке, которую он никогда не встречал, которая выросла в его собственном дворце, жила в восточном крыле, разделённом с его покоями двумя коридорами и садом, — и которую он ни разу не видел. Таков был порядок: до свадьбы жених и невеста из правящих семей не должны были встречаться. Им оставалось только ждать.

За окном светила луна, и где-то в восточном крыле дворца сидела девушка шестнадцати лет, которая, может быть, тоже смотрела на ту же луну и думала о том же, о чём и он: каково это — быть связанным с человеком, которого не знаешь, узлом, который не развяжешь.

Ван Ю закрыл глаза и прошептал:

— Отец, ты променял мою жизнь на мир. Интересно, стоит ли мир такой цены.

Никто не ответил. Только луна. Молча лила свет через раскрытое окно, и где-то далеко, за стенами дворца, волк выл на горах, которые Ван Ю больше никогда не назовёт домом.

Глава 2. Шёлковая ширма

До свадьбы оставалось тридцать семь дней, и Ван Ю считал каждый из них, как узник считает рассветы.

Не потому, что ждал. А потому, что каждый день приближал его к моменту, после которого пути назад уже не будет. Свадьба с принцессой Арым была не просто церемонией — она была последним гвоздём в крышке гроба его свободы. Им Гван-джэ позаботился обо всём: приданое от Цзинь уже прибыло, тридцать два сундука с шёлком, нефритом, жемчугом и книгами, и стояло в западном складе дворца под охраной двух стражников. Швейные мастерские работали днём и ночью, готовя свадебные одежды. Повара составляли меню на пятьсот гостей. Астрологи выбирали час, вычисляя расположение звёзд с такой точностью, что казалось, будто от этого зависит судьба не двух людей, а целого мироздания.

А Ван Ю хотел лишь одного — увидеть её. Хоть раз.

Не из любопытства. Или, может быть, именно из любопытства — но такого, от которого не спишь по ночам. Он знал о ней всё, что можно было узнать из донесений: родилась в четвёртой луне, в год Зайца, ростом средняя, в учёбе прилежна, характером тиха, здоровьем крепка. Он читал её стихи — те, что переписывали для библиотеки, — и находил в них что-то странное: сдержанное, почти спрятанное волнение, как будто между строк кто-то задерживал дыхание. Но донесения и стихи не показывали лица. А лицо для императора значило многое. Не потому, что он был поверхностен, а потому, что лицо человека — это первая правда о нём. Глаза не умеют лгать так же ловко, как уста.

Во дворце существовал неписаный закон: жених и невеста из правящих родов не встречались до свадьбы. Правилом этикета — это была политика. Если Ван Ю увидит Арым и найдёт её некрасивой, или скучной, или просто чужой — он может отказаться. А отказ означал бы

разрыв договора с Цзинь, возвращение принцессы, и война, которая тлела под пеплом перемирия, вспыхнет снова. Им Гван-джэ понимал это лучше кого бы то ни было, и потому выставил у покоев Арым дополнительную стражу — якобы для её защиты, на деле для того, чтобы никто не вошёл, и никто не вышел без его ведома.

Но дворец — это не крепость. Дворец — это лабиринт коридоров, тайных переходов, скрытых дверей и садовых тропинок, известных только слугам, которые прошли их тысячу раз. И Ван Ю, который провёл в этом дворце всего полгода, уже успел изучить его лучше, чем люди, жившие здесь десятилетиями. Не потому что был хитёр — потому что был одинок.

А одинокий человек замечает то, чего не видят те, кто окружён людьми.

Однажды вечером, когда стемнело и дворец затих, Ван Ю накинул тёмный халат поверх нательного платья, не надел корону — он и так знал каждый закоулок — и вышел из покоев через заднюю дверь, которая вела в малый сад, а оттуда — к ограде восточного крыла. Стражник у задней двери спал, привалившись к столбу: Ван Ю дал ему вина, в которое велел повару добавить немного трав, от которых спят крепко. Не яд — просто сон. Он не хотел никому зла, даже стражнику. Он хотел только посмотреть.

Тропинка вела через бамбуковую рощу. Луна стояла высоко и заливала всё серебристым светом, от которого стволы бамбука казались вырезанными из кости. Ван Ю шёл тихо, как его учил Ким Сок, который однажды сказал: «Тот, кто ходит тихо, слышит мир. Тот, кто ходит громко, слышит только себя».

Он миновал ограду через щель между досками, которую заметил ещё в первую неделю после приезда. За оградой начинался внутренний сад восточного крыла — небольшой, с прудом, каменным фонарём и старой сливой, которая уже отцвела. В тёплых покоях, обращённых окнами к саду, горел свет. Бумажные створки окон были приоткрыты — ночь была тёплая, и служанки не закрыли их, чтобы пустить воздух.

Ван Ю остановился за сливой и замер.

В комнате за окном сидела девушка.

Она писала. Перед ней на низком столике лежал лист бумаги, кисть в руке, пиала с тушью — рядом. Волосы были распущены — чёрные, длинные, до самого пояса, и в лунном свете казались водопадом из чёрного шёлка. На ней было простое домашнее платье — белое, без вышивки, без украшений, и именно эта простота делала её похожей не на принцессу, а на что-то иное, от чего трудно было отвести глаза.

Арым писала медленно, как будто выводила каждый иероглиф с особой заботой. Иногда она останавливалась, поднимала кисть и смотрела в пустоту перед собой, и в эти мгновения её лицо становилось таким, что Ван Ю забывал дышать.

Она была красива. Не той яркой, бьющей красотой, которую воспевают поэты и изображают художники на свитках. Нет. Её красота была тихой, как лунный свет, — её нельзя было увидеть сразу, но, увидев однажды, нельзя было забыть. Тонкие черты, высокая линия бровей, прямая шея, кожа с лёгким золотистым отливом, как у северного нефрита. И руки — длинные пальцы, которые держали кисть с той уверенной мягкостью, что выдаёт человека, для которого письмо не ремесло, а дыхание.



Ван Ю стоял и смотрел, и внутри у него что-то сдвинулось — не любовь, нет. Скорее, удивление. Он готовился к разочарованию, к тому, что увидит чужую, незнакомую, неинтересную девушку, навязанную ему политикой. Но перед ним был человек, который выглядел так, как будто несёт в себе целый мир, спрятанный за спокойным лицом. И этот мир был закрыт для него. Он мог смотреть, но не мог войти.

Арым вдруг подняла голову и посмотрела в окно — прямо туда, где стоял Ван Ю за сливой. Он застыл, сердце забилось, но она не видела его: её взгляд был устремлён куда-то поверх деревьев, на луну. Она смотрела долго, с выражением, которое он не мог разобрать — не тоска, не радость, не покорность. Что-то, для чего у него не было слова.

Потом она опустила голову и написала ещё несколько иероглифов. Ван Ю хотел прочесть, но с его места было не видно. Он стоял ещё несколько минут, потом тихо отступил и пошёл обратно через бамбуковую рощу. Он не чувствовал радости или облегчения. Он чувствовал, что-то, чего не мог назвать, — как будто увидел сокровище за стеклом и понял, что оно не его. Не потому что он не может его взять. А потому что стекло — это его долг, и разбить его значит разрушить всё.

Он почти дошёл до своих покоев, когда услышал голос.

— Ваше величество?

Ван Ю замер. Голос был женский — тихий, мягкий, с лёгкой хрипотцой, как у человека, который только что проснулся или вот-вот заплачет. Он обернулся.

У стены стояла девушка. Простое платье из сурового шёлка, волосы собраны наспех, лицо бледное в лунном свете. Она была невысокой, с острым подбородком и глазами, которые блестели, как мокрые камни. В руках она держала пустое ведро — видимо, носила воду из колодца.

— Ты знаешь, кто я? — спросил Ван Ю, удивлённый не тем, что его застали, а тем, что девушка не выглядела испуганной.

— Знаю, — ответила она и поклонилась — но не так низко, как кланялись придворные. Так кланяются равному, не господину. — Вы — император. Я — Бора. Служанка кухни восточного крыла.

— Что ты делаешь здесь ночью?

— Ношу воду. Госпожа Пак велела набрать до рассвета, пока вода в колодце чистая и холодная. А вы, ваше величество? — она чуть наклонила голову, и в этом жесте не было дерзости, только прямой вопрос. — Что делает император в саду ночью один?

Ван Ю помолчал. Он мог бы уйти, мог бы приказать ей молчать, мог бы сказать, что прогуливается. Но что-то в её голосе — открытость, простота, отсутствие страха — заставило его ответить так, как он не ответил бы никому во дворце.

— Я смотрел на луну.

Бора посмотрела на него, и в её глазах мелькнула улыбка — не на губах, только в глазах.

— На луну, ваше величество? Или на то, что освещает луна?

Ван Ю вздрогнул. Она знала. Или догадывалась. Или просто была достаточно умна, чтобы прочесть ответ в его лице.

— Ты догадлива, — сказал он, и голос его был не строгий, а скорее усталый.

— Я не догадлива, — ответила Бора. — Я просто тоже смотрю на луну каждую ночь. Когда носишь воду в темноте, луна — единственная компания. И я видела, как кто-то ходит через бамбуковую рощу уже не в первый раз. Но впервые остановился и заговорил.

Ван Ю посмотрел на неё внимательнее. Она была не похожа на придворных дам, которых он видел каждый день: не накрашена, не надушена, не закована в церемониальный шёлк. Простое лицо, простая одежда, простые руки с мозолями от вёдер и тазов. Но в её глазах была

жизнь — живая, незашоренная, та, которую он не видел у придворных, у советников, у стражи. Все во дворце носили маски. Эта девушка не носила ничего — даже страха.

— Ты не боишься? — спросил он. — Встретить императора ночью, одной, без свидетелей?

— Боюсь ли я? — повторила Бора, как будто обдумывая вопрос. — Ваше величество, я каждый день боюсь. Боюсь, что госпожа Пак найдёт ошибки в моей работе, боюсь, что пролью суп на чиновника, боюсь, что меня отправят обратно в деревню, откуда меня привезли. Но вас мне бояться нечего. Вы не причините мне зла.

— Откуда ты знаешь?

— Потому что человек, который ходит смотреть на луну в одиночестве, не злой. Злые люди не смотрят на луну. Они смотрят на людей.

Ван Ю замолчал. Эти слова — простые, неукрашенные, сказанные служанкой у стены в лунном свете, — задели его сильнее, чем все речи советников, которые он выслушал за полгода. Он подумал: «Она права. Я не злой. Но я слабый. А слабый на троне — опаснее злого».

— Как тебя зовут? — спросил он, хотя она уже назвала имя.

— Бора, — повторила она.

— Только имя? Ни клана, ни титула?

— У меня нет клана, ваше величество. И титула тоже. Только имя. Но мне его достаточно.

Ван Ю кивнул и хотел уйти, но Бора вдруг сказала:

— Ваше величество, если вы шли к восточному крылу… Принцессе Арым не нравится, когда за ней подглядывают. Она говорит, что чувствует чужой взгляд, как чувствует дождь — даже если не видит облаков.

Ван Ю обернулся.

— Ты говоришь с ней?

— Я подаю ей чай каждое утро. Иногда она говорит. Мало, но метко.

— Что ещё она говорит?

Бора помолчала, и Ван Ю увидел, что она решает — ответить или промолчать. Это была не пауза страха, а пауза размышления, и это его удивило: служанка, которая размышляет, прежде чем говорить, — редкость даже среди министров.

— Она говорит, что готовится стать вашей женой. И что не боится. Но я думаю, она лжёт. Не вам — себе.

— Почему ты так думаешь?

— Потому что тот, кто не боится, не пишет стихи о журавлях, которые не могут улететь.

Ван Ю почувствовал, как слова прошли сквозь него, как ветер сквозь бумажную дверь. Он хотел сказать что-то, но не нашёл слов. Вместо этого он посмотрел на Бору — на её лицо, на её руки, на ведро, которое она держала так уверенно, как будто оно было частью её тела, — и подумал: «Вот человек, который не прячет правду за шёлком. Которая говорит то, что думает, и думает то, что говорит. Как мало таких во дворце. Как мало таких вообще».

— Ты можешь идти, — сказал он наконец, и голос его был мягче. И, Бора…

— Да, ваше величество?

— Никому не говори, что встретила меня здесь.

— Не скажу, — ответила она. — Но, ваше величество, стена, за которой вы подглядываете, не такая толстая, как вам кажется. Принцессе не нужны глаза, чтобы знать, что на неё смотрят. Она просто ждёт, когда вы придёте открыто.

Бора поклонилась — на этот раз ниже — и ушла, легко, как человек, привыкший ходить тихо. Ведро не звякнуло ни разу.

Ван Ю стоял один в тёмном коридоре и чувствовал, как внутри него борются два чувства. Первое — к Арым: тихое, тёмное, как лунный свет, восхищение и одновременно вина, потому что он видел её тайком, без её ведома, и это было нечестно.

Второе — к Боре: что-то более живое, более тёплое, более опасное. Не любовь — нет, он не был настолько безрассуден, чтобы назвать это любовью после одной ночной беседы. Но что-то, что pull-нуло его к ней с силой, которой он не мог сопротивляться. Может быть, потому что она была единственной во дворце, кто говорил с ним как с человеком, а не как с троном.

Он вернулся в свои покои, лёг на ложе и закрыл глаза. Перед ним стояли два лица: одно — красивое, спокойное, с распущенными чёрными волосами и кистью в руке, другое — простое, бледное, с мозолистыми руками и глазами, блестевшими, как мокрые камни. Одно было его будущим. Другое — тем, чего у него не должно было быть.

Он не заснул до рассвета.

На следующее утро Ван Ю сидел на утреннем совете, и советники говорили о налогах, о поставках риса в южные провинции, о ремонте дамбы на реке Имджин. Он слушал, кивал, задавал вопросы — но мысли его были далеко. Им Гван-джэ, сидевший по правую руку от трона, заметил это. Он ничего не сказал при всех, но после совета, когда они остались вдвоём, произнёс:

— Ваше величество плохо спал?

— Мало спал, — ответил Ван Ю.

— Есть разница.

— Для императора — нет. Бессонница и мало сна — одно и то же: оба мешают править. Что тревожит ваше величество?

— Ничего, — сказал Ван Ю и тут же поправился: — Свадьба.

Им Гван-джэ кивнул медленно.

— Через тридцать шесть дней. Всё готово. От Цзинь прибыл посланник для участия в церемонии Принцесса Арым заканчивает подготовку. Госпожа Пак докладывает, что принцесса спокойна и готова.

— А если я не готов?

Им Гван-джэ посмотрел на него — не с упрёком, не с тревогой, а с тем спокойным, немигающим вниманием, с каким смотрят на доску, рассчитывая следующий ход.

— Ваше величество, вы император. Император не спрашивает, готов ли он. Он спрашивает, готова ли страна. Страна готова. Значит, и вы готовы.

— А если император — не страна?

— Тогда император учится быть страной. Это и есть правление.

Ван Ю промолчал. Он хотел сказать: «А если император хочет быть не страной, а человеком?» Но не сказал. Он уже знал, что Им Гван-джэ не поймёт этого вопроса — не потому что глуп, а потому что для него ответ был очевиден: император не может быть человеком. Император — это трон, а трон не чувствует.

После полудня Ван Ю отправился в сад. Не в восточный — туда он не пошёл, побоявшись, что кто-то заметит, — а в западный, где между каменными фонарями и зарослями азалии он увидел знакомую фигуру. Бора стояла у колодца, набирала воду. На этот раз она была не одна: рядом стояла другая служанка, полная, румяная, с красными щеками, и они тихо переговаривались.

Ван Ю остановился за поворотом тропинки и слушал.

— …говорят, он тихий, — говорила полная служанка. — Ни разу не повысил голос за все шесть месяцев. Не бьёт слуг, не ругает чиновников. Говорят, он читает книги допоздна.

— А ещё ходит по ночам, — сказала Бора, и в её голосе не было ни страха, ни хитрости — только лёгкая, едва заметная улыбка.

— Откуда ты знаешь? — спросила полная.

— Знаю.

— Бора, ты опять умничаешь. Вчера госпожа Пак сказала, что ты слишком много смотришь и слишком мало молчишь. Она собирается перевести тебя в прачечную.

— В прачечную так в прачечную. Там хотя бы тихо.

— Ты не боишься ничего, — сказала полная с завистью.

Бора помолчала, потом ответила:

— Я боюсь. Просто не показываю. Это разные вещи, Сунь-а.

Ван Ю вышел из-за поворота. Обе служанки обернулись и тут же упали на колени, склонив головы до земли. Полная служанка задрожала. Бора — нет. Она стояла на коленях прямо, и хотя голова была опущена, Ван Ю видел, что руки её не дрожат.

— Встаньте, — сказал он. — Ты, — он указал на полную, — иди. Ты, — он посмотрел на Бору, — останься.

Служанка Сунь-а убежала так быстро, как будто под ней загорелась земля. Бора поднялась и стояла перед ним, и в этот раз — при дневном свете — он увидел её лицо яснее, чем ночью. Она была не красива. Не в том смысле, в каком была красива Арым — с её тонкими чертами и нефритовой кожей. Бора была обыкновенной: чуть широкий рот, нос с горбинкой, скулы не слишком высокие, не слишком низкие. Но глаза — глаза были необычными. Тёмные, почти чёрные, с тем живым блеском, который бывает у людей, мыслящих быстрее, чем говорят. И ещё — на левой щеке, у края губ, маленькая родинка, как точка, поставленная кистью художника, который знал, что совершенство — в несовершенстве.

— Вчера ты сказала мне больше, чем все мои советники за полгода, — сказал Ван Ю.

— Вчера я говорила с человеком. Советники говорят с троном. Это не одно и то же, ваше величество.

— А сейчас? С кем ты говоришь?

Бора посмотрела на него — прямо, открыто, без поклонов и отведённых глаз.

— Сейчас — с человеком, который не спал ночью и который пришёл в сад не ради азалий. Ваше величество, разрешите мне сказать прямо?

— Говори.

— Вам не нужно подглядывать за принцессой Арым. Если вы хотите её увидеть — попросите госпожу Пак устроить встречу. Не тайком, а открыто. Она не откажет. Она ждёт этого.

— А ты? — спросил Ван Ю, и сам не понял, почему спросил. — Ты бы ждала?

Бора замолчала. Впервые за всё время в её глазах мелькнуло что-то, чего Ван Ю не мог прочесть — не страх, не смущение, а что-то похожее на боль, быстро спрятанное.

— Я служанка, ваше величество, — сказала она тихо. — Служанки не ждут. Они работают.

Она поклонилась, подняла ведро и ушла. Ван Ю стоял у колодца и смотрел ей вслед, и в груди у него было тесно, как будто кто-то положил туда камень. Он думал: «Через тридцать шесть дней я женюсь на девушке, которая прекрасна, как луна, и которая пишет стихи о журавлях. А я стою у колодца и смотрю вслед служанке с мозолистыми руками и родинкой на щеке. Что со мной?»

Он не знал. Или знал, но не хотел признавать. Потому что признать — значит сделать выбор. А выбора у него не было.

Или, может быть, выбор был. Но цена его была такой, что Ван Ю пока не решался посмотреть ей в лицо.

Вечером того же дня Бора вернулась в комнату служанок, расположенную в нижнем этаже восточного крыла. Это было маленькое помещение с глиняными стенами, тремя матами на полу и одним окном, выходившим на кухонный двор. Здесь жили четверо: Бора, Сунь-а, немая прачка по имени Даль и старая Чхи - омма, которая при дворе прослужила сорок лет и знала все тайны, но никогда их не рассказывала.

Сунь-а уже ждала её, сгорбившись над шитьём, и как только Бора вошла, зашептала:

— Что он сказал? Что ты ему ответила? Бора, ты безумная, ты разговариваешь с императором, как с мальчишкой с рынка!

— Он не мальчишка с рынка, — ответила Бора, садясь на свой мат. — Но и не император, когда на нём нет короны.

— Для тебя — нет. Для остальных — да. И если Им Гван-джэ узнает, что ты…

— Он не узнает, — сказала Бора, но голос её был тише, чем обычно.

Старая Чхи-омма, которая лежала на своём мате с закрытыми глазами и делала вид, что спит, вдруг открыла один глаз.

— Девочка, — сказала она голосом, похожим на скрип старой двери, — я прожила во дворце сорок лет. Я видела, как служанки влюблялись в принцев и видела, что с ними потом случалось. Ничего хорошего. Запомни: во дворце любовь — это не тепло. Это огонь. А огонь жжёт того, кто к нему подходит слишком близко.

Бора легла на спину и посмотрела в потолок. Трещины на глине образовывали узор, похожий на русло реки.

— Я не влюблена, — сказала она.

— Ещё нет, — ответила Чхи-омма и закрыла глаз. — Но будешь. Я видела этот взгляд и у других. Он начинается с любопытства, а кончается бедой.

Бора не ответила. Она лежала и слушала, как за стеной, в тёплых покоях, принцесса Арым играет на каягым — тихо, печально, и струны плачут так, будто каждой из них больно.

А где-то в другом конце дворца, в своих покоях, сидел Ван Ю и смотрел на свои руки — руки, которые держали кисть, подписывали указы и утром будут держать руки девушки, которую он не выбрал. И думал не о ней. Думал о Боре. О её словах, о её взгляде, о родинке на щеке, которая казалась ему важнее всех драгоценностей казны.

Он понимал, что это безумие. Что до свадьбы — тридцать пять дней. Что Им Гван-джэ следит за каждым его шагом. Что Ван Гон ждёт его ошибки. Что одно неосторожное слово, один неверный жест — и всё рухнет: мир, трон, жизнь.

Но понимание — это не сила. Понимание не заставляет сердце молчать.

Ван Ю закрыл глаза и увидел два лица — одно в лунном свете, другое у колодца. Одно — его будущее. Другое — его невозможное.

И до утра он так и не решил, какое из них страшнее.

Глава 3. Трещины в нефрите

Двадцать дней до свадьбы.

Дворец жил в предвкушении, как живёт город перед праздником: суетливо, громко, с ощущением, что за шумом прячется что-то, о чём никто не говорит вслух.

Но за стенами дворца жизнь текла иначе.

Южные провинции голодали.

Третий год подряд дожди шли не вовремя: то заливали поля в сезон посадки, то исчезали в сезон созревания. Рис, который должен был заполнить амбары к осени, гнил на корню или сох на корню — в зависимости от того, что случалось: потоп или засуха. Крестьяне южных провинций Чолла и Кёнсан ели кору и жёлуди, и третья волна беженцев уже двигалась на север, к столице, тонким ручейком оборванных людей с мёртвыми глазами.

Ван Ю узнал об этом не от министров. Ему рассказал Ким Сок, который теперь жил во дворце в звании придворного библиотекаря — должность почётная и тихая, позволявшая старому учителю быть рядом с учеником, не вмешиваясь в политику. Ким Сок читал всё: донесе-

ния, доклады, прошения. Он не имел права голоса на совете, но имел право говорить с императором наедине — и этим правом пользовался.

— Ваше величество, — сказал он однажды утром, разложив на столе свитки с донесениями, — южные провинции голодают. Третий год. Министр налогов докладывает, что сборы выполнены на семь десятых. Это ложь. Они выполнены на четыре. Остальное — приписки. Чиновники занижают потери, чтобы получить повышение. А крестьяне бегут.

Ван Ю сидел за столом и читал. Лицо его не изменилось — он научился не показывать эмоций на совете и даже наедине с учителем, — но пальцы, державшие свиток, побелели.

— Почему мне об этом не доложили на совете?

Ким Сок помолчал.

— Потому что, ваше величество, совет не считает голод поводом для срочного решения. Совет считает, что свадьба — повод. А голод — это так, из года в год.

Ван Ю отложил свиток и встал. Он подошёл к окну и посмотрел на дворцовый сад — ухоженный, поливаемый, цветущий. За оградой, где-то в городе, может быть, сидел на дороге крестьянин, который не ел три дня. Между ним и императором — стена камня, шёлка и этикета, толстая, как крепостная.

— Собери совет на завтра, — сказал он. — Я хочу видеть министра налогов, министра земледелия и начальника провинции Чолла.

— Начальник Чолла — человек Им Гван-джэ, — заметил Ким Сок.

— Тем более.

На следующее утро совет собрался в зале Кынджон-джон. Ван Ю сидел на троне, и по правую руку от него — Им Гван-джэ, по левую — три старших советника. Министр налогов, министр земледелия и начальник провинции Чолла стояли внизу, и руки у всех троих подрагивали.

— Доложите о положении в южных провинциях, — сказал Ван Ю. Голос его был ровным, без гнева, но от этого ровного голоса министрам было хуже, чем от крика.

Министр налогов, тучный мужчина по имени Пак Чжэ-хо, поклонился и начал:

— Ваше величество, сборы в провинциях Чолла и Кёнсан выполнены на семь десятых от нормы. Небольшие потери связаны с нерегулярными осадками, но положение под контролем. Резервные амбары заполнены на…

— На четыре десятых, — перебил Ван Ю. — Не на семь. На четыре. Я прочитал донесения ваших собственных сборщиков, которые вы, министр, предпочли не включить в итоговый отчёт. В уезде Наджу умер от голода сорок один человек. В уезде Кванджу — шестьдесят три. В Сунчхоне — двадцать восемь. Это только за последний месяц. И вы говорите мне, что положение под контролем?

Тишина в зале стала осязаемой. Министр Пак побледнел и опустился на колени. Им Гван-джэ не шевельнулся, но Ван Ю почувствовал, как его взгляд стал холоднее.

— Ваше величество, — заговорил начальник провинции Чолла, человек лет пятидесяти с лицом, изрезанным морщинами, как поле бороздами, — я докладывал первому министру о реальном положении. Первый министр велел мне не тревожить ваше величество деталями, пока не завершится церемония бракосочетания.

Все посмотрели на Им Гван-джэ. Старый министр сидел неподвижно, как каменный идол, и только губы его чуть дрогнули.

— Я велел не тревожить, — сказал он спокойно, — потому что свадьба — это перемирие с Цзинь. Голод — это внутреннее дело. Внутренние дела решаются после того, как внешние угрозы устранены. Сначала мир, потом рис.

— А пока мы ждём мира, — сказал Ван Ю, и голос его стал чуть тише, что было хуже крика, — люди умирают. Министр, мне нужен мир. Мир, но мне не нужен мир на трупах.

Им Гван-джэ посмотрел на императора. Впервые за полгода в его взгляде мелькнуло что-то, чего не было раньше — не уважение, не страх, но внимание. Настоящее, живое внимание, как будто он впервые увидел в молодом человеке не «чистый лист», а того, кто умеет читать между строк.

— Что предлагает ваше величество? — спросил он.

— Открыть резервные амбары в Ханяне и направить рис в Чолла и Кёнсан. Снизить налоги на этот год наполовину. Назначить нового начальника провинции — того, кто не будет приписывать.

— Резервные амбары нужны на случай войны, — возразил один из советников, пожилой Ю Чхоль-су.

— Если мы не накормим народ, войны не будет. Будет мятеж, — ответил Ван Ю. — А мятеж дешевле предотвратить рисом.

— Ваше величество прав. Я поддержу открытие амбаров. Но налоги — вопрос сложный. Казна пуста. Снижение налогов наполовину означает, что казна не наполнится и в следующем году.

— Казна наполнится, когда крестьяне вернутся на поля, — сказал Ван Ю. — А они не вернутся, пока голодают. Министр, я читал, что голодный крестьянин не сеет. Он ест семена.

Им Гван-джэ посмотрел на него долгим взглядом — и кивнул. Один раз, медленно. Советники переглянулись. Министр налогов всё ещё стоял на коленях.

— Министр Пак, — сказал Ван Ю, — вы будете наказаны за приписки. Не смертью — увольнением. Идите.

Министр поднялся, поклонился и вышел, и шаги его были тяжелы, как у человека, несущего мешок.

После совета Им Гван-джэ остался. Он подошёл к трону и сказал негромко, так, чтобы не слышали слуги:

— Ваше величество, вы поступили правильно. Но вы поступили резко. Министр Пак — мой человек. Увольняя его при всех, вы показали совету, что не боитесь меня. Это смело. Но смелость и мудрость — не одно и то же.

— А что вы предложили бы, министр? Увольнять тихо, воров за чаем?

— Я предложил бы сначала спросить меня, — ответил Им Гван-джэ, и в голосе его не было обиды, только констатация. — Ваше величество, я не враг. Я — опора. И опора работает лучше, когда на неё опираются, а не бьют ею по голове.

Ван Ю посмотрел на него и впервые за всё время почувствовал, что старый министр говорит искренне. Не из гордости, не из страха — из усталости. Ему было за шестьдесят, и он держал государство на плечах уже двадцать лет. Может быть, он тоже хотел, чтобы кто-то понёс этот вес вместе с ним.

— Я буду спрашивать, — сказал Ван Ю. — Но я буду и решать. Министр, мне нужен новый начальник Чолла. Не ваш человек. Мой.

Им Гван-джэ помолчал.

— Кого вы хотите?

— Чхве Мина. Он старый, честный и не амбициозен. Три качества, которых нет у остальных.

Им Гван-джэ усмехнулся — впервые за всё утро.

— Хорошо. Я согласен. Но, ваше величество, запомните: каждый человек, которого вы ставите —это нить. Нити тянутся к вам. Если потянуть за одну, дёрнутся все. Управлять государством — это не резать нити. Это плести из них сеть.

Ван Ю кивнул. Им Гван-джэ поклонился и вышел. В дверях он обернулся и сказал:

— До свадьбы — двадцать дней. Ваше величество, постарайтесь не совершать резких движений. Резкие движения видны. А то, что видят, — то обсуждают.

Через три дня после совета, когда Ван Ю вернулся в покои после вечерней трапезы, он нашёл на столе записку. Бумага была тонкая, рисовая, с лёгким запахом сливы. Почерк — тонкий, каллиграфический, с длинными росчерками, как у человека, который учился писать у лучших мастеров. Записка содержала четыре строки:

«Журавль прилетел к озеру.

Но не знает, зачем.

Может, он устал.

Может, ему нужен кто-то, кто

скажет: оставайся».

Ван Ю перечитал трижды. Почерк был женский — он видел такие же строки в свитках библиотеки, подписанных «А.». Арым. Это была не просьба о встрече и не признание. Это было приглашение — тихое, осторожное, как шаг по тонкому льду.

Под запиской, на обратной стороне, был приписан другой почерк — неровный, быстрый, как у человека, который писал в спешке: «Завтра, после полудня, павильон Хо Гён. Госпожа Пак уйдёт в храм. Двор пуст. Будьте там. — Б.»

Ван Ю долго смотрел на букву «Б». Бора. Значит, Арым написала стих, а Бора — доставила и устроила. Служанка, которая подаёт чай принцессе, и которая знает, когда госпожа Пак уходит в храм. Служанка, которая связывает двух людей, одному из которых она сказала: «Служанки не ждут. Они работают».

Он не знал, что думать. Бора помогала ему встретиться с Арым. Помогала — или подталкивала? Хотела его сблизить с принцессой — или хотела, чтобы он увидел Арым и перестал думать о ней, о Боре? Он не мог ответить на этот вопрос и потому решил просто прийти.

На следующий день, после полудня, Ван Ю надел простое платье — не церемониальное, тёмно-серое, без вышивки, — и пошёл в павильон Хо Гён. Павильон стоял в дальнем углу сада, у пруда с карпами, окружённый старыми соснами. В обычное время там было безлюдно: придворные предпочитали павильон Кёнхе-ру, ближе к центру дворца. Но сегодня павильон был не пуст.



Арым сидела на циновке, спиной к входу, лицом к пруду. На ней было платье цвета незрелого персика — бледно-зелёное, с лёгким серебристым отливом. Волосы собраны высоко, украшены одной шпилькой из белого нефрита. Она не двигалась и, казалось, не дышала. Перед

ней на низком столике стояли две пиалы с чаем — две, хотя она не могла знать, что он придёт. Или могла.

Ван Ю остановился у входа. Он стоял так несколько секунд, и в эти секунды понял, что видит её впервые — не через окно, не в лунном свете, не в донесениях. Впервые — в полный рост, при дневном свете, на расстоянии вытянутой руки. И она была… он искал слово и не находил. Не «красива» — это слово было слишком маленькое. Не «прекрасна» — это слово было слишком книжное. Она была настоящей. Живой. Такими бывают горы, когда видишь их не на картине, а своими глазами: те же очертания, но внутри — что-то, чего не передать кистью.

— Садитесь, — сказала Арым, не оборачиваясь. — Чай остынет.

Ван Ю вздрогнул. Она знала, что он стоит за спиной. Знала и не обернулась. Он сел напротив, и она впервые посмотрела на него.

Глаза у неё были тёмно-карие, почти чёрные, с той же глубиной, что и у Боры, но другим наполнением. У Боры в глазах была живость — искра, движение, ветер. У Арым в глазах была тишина — как вода в глубоком колодце, неподвижная, но не мёртвая. Тихая, потому что внутри слишком много, чтобы выплеснуть наружу.

— Ты написала стих, — сказал он.

— Вы прочитали, — ответила она.

— Журавль прилетел к озеру. Но не знает, зачем.

— А вы знаете, зачем?

Ван Ю взял пиалу, сделал глоток. Чай был горьковатый, холодный, с привкусом хвои.

— Журавль прилетел, потому что ему некуда больше лететь.

Арым чуть наклонила голову — жест, который он уже видел в первый раз, когда читал о ней в донесениях, но вживую он был иным: не покорность, а размышление.

— Некуда — или не хочет? — спросила она.

— Есть разница?

— Огромная. «Некуда» — это безысходность. «Не хочет» — это выбор. Я предпочла бы, чтобы вы выбрали, а не были вынуждены.

Ван Ю посмотрел на неё с удивлением. Он ожидал робости, покорности, тишины — того, что писали в донесениях: «тиха, покорна, добродетельна». Но перед ним сидела девушка, которая задавала вопросы, которые не задают покорные. Она говорила тихо, но каждое слово было выверено, как стрелы лучника.

— Ты прожила здесь девять лет, — сказал он. — Ты не боишься?

— Чего?

— Меня.

Арым помолчала. Потом сказала:

— Я боялась вас девять лет. Боялась, что вы будете жестоки. Или равнодушны. Или просто… не увидите меня. Что я буду женой, тенью, мебелью. Но вы пришли сюда, рискуя всем, чтобы посмотреть на меня. Значит, вы не равнодушны. А человек, который не равнодушен, не может быть жестоким по природе. Он может быть жестоким от слабости, но не от злости. Я не боюсь слабости.

Ван Ю почувствовал, как внутри него что-то перевернулось — не сердце, что-то глубже. Он вдруг понял, что Арым видит его насквозь, как стекло, и что за её тихим голосом и спокойным лицом скрывается разум, который выстрадал свои девять лет не меньше, чем он свои.

— Я не знаю, смогу ли сделать тебя счастливой, — сказал он. — Честно.

— Я не прошу счастья, — ответила Арым. — Я прошу честности. Счастье — это роскошь, которую мы оба не можем себе позволить. Но честность — это долг, который мы можем разделить.

Ван Ю смотрел на неё и думал: «Вот девушка, которая заслуживает любви. Которая заслуживает того, чтобы кто-то выбрал её — не потому, что так надо, а потому, что так хочет. А я не могу. Потому что моё сердце уже… Он не закончил мысль. Не дал ей оформиться. Но образ Боры - глаза, её родинка, её голос — встал перед ним, как тень, и отодвинул Арым на шаг назад. Ему стало стыдно. Стыдно так, как будто он стоял перед Арым голым, и она видела все его шрамы.

— Через семнадцать дней, — сказал он, — мы поженимся. Я буду верен тебе.

— Верностью? — переспросила Арым, и в её голосе прозвучала нотка, которую он не смог определить — не горечь, не ирония, что-то тоньше. — Или правдой? Верность — это тело, ваше величество. Правда — это сердце. Я предпочла бы правду.

— Правда в том, что я не знаю, что чувствую.

— Это честнее, чем «я люблю тебя», — сказала Арым. — И это уже что-то.

Они посидели молча. Пруд перед ними блестел, карпы плавали кругами, и солнце медленно клонилось к западу, окрашивая воду в медный цвет. Ван Ю смотрел на Арым и думал, что если бы он не встретил Бору, если бы эта ночь у колодца не состоялась, он мог бы полюбить эту девушку. Может быть. Со временем. Тихо, медленно, как растёт дерево из семечка, посаженного в хорошую землю.

Но семечко уже было брошено в другую землю. И он не мог его выкопать, не повредив корни.

Арым встала первой.

— Мне пора. Госпожа Пак вернётся из храма через час. Если она застанет нас вместе…

— Я знаю.

Арым поправила шпильку в волосах — жест привычный, механический, как будто она делала это тысячи раз. Потом сказала, не оборачиваясь:

— Бора говорила мне, что вы добрый человек. Она редко говорит о людях хорошо. Но о вас — да.

Ван Ю замер.

— Ты говоришь с ней обо мне?

— Она подаёт мне чай каждое утро. Мы говорим. Мало, но… достаточно. Она сказала: «Он не злой. Он просто одинок». — Арым обернулась. — Я тоже одинока, ваше величество. Может быть, этого достаточно, чтобы начать.

Она ушла — тихо, по-королевски, ни одного лишнего звука. Ван Ю сидел один в павильоне, смотрел на остывший чай и думал о Боре, которая устроила эту встречу. Которая написала записку своим неровным почерком. Которая подала ему к Арым и сказала: «Служанки не ждут. Они работают».

Она работала. Она помогала ему и Арым встретиться. И Ван Ю не мог понять — почему от этого ему больно.

Он искал Бору каждый день.

Не сознательно — или, может быть, сознательно, но он не хотел себе в этом признаваться. Он ходил через западный сад, мимо колодца, через кухонный двор. Он знал её расписание: утром — подаёт чай принцессе, в полдень — носит воду, вечером — помогает на кухне. Он выучил это, не спрашивая, как учат стихи — повторяя, пока не запомнится.

Через пять дней после встречи с Арым он увидел её у колодца снова. Одна. Солнце стояло низко, и тени от сосен падали на землю длинными полосами, как шаги великана. Бора стояла с ведром и смотрела в воду, и Ван Ю подошёл и встал рядом.

— Ты устроила встречу, — сказал он.

— Устроила, — ответила она, не поднимая глаз от воды.

— Почему?

— Потому что вы оба этого хотели. И ни один не знал, как.

— Откуда ты знаешь, что я хотел?

Бора подняла на него взгляд — тот самый, тёмный, живой, с блеском, который он видел в первую ночь.

— Ваше величество, вы ходили через бамбуковую рощу трижды. Вы стояли за сливой и смотрели, как она пишет. Вы не спите ночами. Я служанка, а не дура. Я вижу.

Ван Ю замолчал. Потом спросил:

— А что ты видишь, когда смотришь на меня?

Бора поставила ведро на край колодца и повернулась к нему лицом. В вечернем свете родинка на её щеке казалась темнее, почти чёрной, и Ван Ю вдруг подумал, что эта родинка — единственное несовершенство на лице, которое без неё было бы слишком обыкновенным, а с ней — живым.

— Я вижу человека, — сказала Бора, — который хочет быть хорошим императором, но не знает, как. Который хочет быть хорошим мужем, но не знает, кому. Который хочет быть свободным, но связан со всех сторон. И который смотрит на меня так, как не должен смотреть.

— А как я смотрю?

— Как смотрят на то, чего хотят и боятся одновременно.

Ван Ю подошёл на шаг ближе. Ведро на краю колодца звякнуло — ветер качнул воду внутри.

— Бора, ты знаешь, что через двенадцать дней я женюсь.

— Знаю.

— Ты знаешь, что если кто-то увидит нас здесь, нам обоим будет плохо. Тебе — хуже.

— Знаю.

— И всё-таки ты не уходишь.

— И всё-таки вы не уходите, — ответила она, и голос её был тихий, но твёрдый, как камень, который не двигается с места, как бы сильно ни дул ветер.

Ван Ю посмотрел на неё. Он стоял так близко, что видел тонкие морщинки у её глаз — от солнца, от ветра, от работы. Он видел мозоли на её руках, загрубевшую кожу на пальцах. Он видел, как она дышит — чуть быстрее, чем обычно, — и понял, что она не так спокойна, как хочет казаться.

— Я не должен этого говорить, — произнёс он. — Но я скажу. С тех пор как встретил тебя у стены, я не могу перестать думать о тебе. Я думал, что это пройдёт. Что я забуду. Что свадьба всё сотрёт. Но каждый день — хуже, чем предыдущий. Каждый день я ищу тебя. Каждый день я хочу услышать твой голос. И мне стыдно, потому что Арым…

— Не говорите про неё, — перебила Бора, и голос её дрогнул — впервые за всё время. — Не сейчас. Пожалуйста.

— Почему?

— Потому что если вы скажете её имя сейчас, я не смогу ответить вам правдой. А я хочу ответить правдой.

— Тогда ответь.

Бора закрыла глаза. Одно мгновение. Два. Потом открыла и сказала:

— Я тоже. С первой ночи, когда вы вышли из бамбуковой рощи и стояли за сливой. Я видела вас — не через окно, а в отражении воды в ведре. Я стояла за дверью и видела, как вы смотрите на неё. И я подумала: «Вот человек, который умеет смотреть». А потом вы заговорили со мной, и я поняла, что мне конец.

Ван Ю не двигался. Он стоял и слушал, и слова Боры проходили сквозь него, как дождь сквозь бумажную дверь — насквозь, до костей.

— Я знаю, что это безумие, — продолжала Бора. — Я знаю, кто вы. Знаю, кто она. Знаю, кто я. Я — служанка, ваше величество. У меня нет клана, нет имени, ничего. Я не принцесса, не наложница из хорошего дома. Я девочка из деревни, которую привезли во дворец, потому что умею носить воду и не ронять пиалы. И я знаю, что через двенадцать дней вы женитесь, и я буду подавать чай вашей жене и кланяться вам в коридоре, и вы пройдёте мимо, и я пройду мимо, и всё будет как было.

— Нет, — сказал Ван Ю. — Не будет.

— Будет, — ответила Бора, и в её голосе была не горечь, а знание — знание человека, который давно всё понял и просто говорит вслух то, что внутри. — Вы император, а я служанка. Мир устроен так. Мы не можем его изменить.

— Может, не нужно менять мир. Может, нужно просто…

Он не договорил. Потому что не знал, что нужно. Или знал — и боялся сказать.

Бора посмотрела на него и сказала тихо:

— Ваше величество, идите. Пожалуйста. Идите сейчас. Пока я ещё могу вас отпустить.

Ван Ю не пошёл. Он взял её за руку — первую в его жизни руку, которую он взял не по ритуалу, не по обязанности, а потому что хотел. Рука была шершавая, тёплая, с мозолями у основания пальцев. Бора не отдёрнула её.

Она стояла и смотрела на их руки — его, белую, гладкую, и свою, загрубевшую, — и в её глазах было что-то, чего Ван Ю не мог назвать. Не радость. Не страх. Что-то, что бывает, когда человек долго чего-то ждёт и вдруг это приходит — и он не верит, и боится, что исчезнет.

— Бора, — сказал он.

— Не надо, — прошептала она.

— Бора, послушай меня. Я женюсь на Арым. Это правда. Я не могу этого избежать. Но я не могу и…

Он замолчал. Бора ждала. В колодце плескалась вода. Где-то далеко, в другом конце дворца, Арым играла на каягым — те же печальные струны, ту же мелодию, что и каждый вечер.

— Я не могу перестать, — сказал он наконец.

Бора закрыла глаза. Потом открыла. Взяла его руку обеими своими — прижала к щеке, к родинке, — и отпустила.

— Тогда не переставайте, — сказала она. — Но знайте, что я не прошу. Я не прошу ничего. Я просто… здесь.

Ван Ю стоял и смотрел, как она уходит — с ведром, по тропинке, между соснами. И думал, что в его жизни есть две девушки: одна — которую он должен любить и не может, другая — которую он любит и не должен. И обе, каждая по-своему, сказали ему правду. И обе правды были похожи на ножи — острые, точные, и обе — в сердце.

Их первая ночь случилась через четыре дня.

Не по его плану. Не по её.

Просто так сложилось — как складывается всё, когда двое людей слишком долго сдерживаются и трещина, наконец, рвётся.

Был тёплый вечер, один из последних по-летнему тёплых вечеров года. Ван Ю вышел из покоев после полуночи — не к восточному крылу, не к Арым, а к саду, к колодцу, куда ноги несли его сами, как река несёт лодку без весла. Он не ждал, что Бора будет там. Но она была.

Она сидела на краю колодца, босиком, с распущенными волосами. Луна освещала её лицо — бледное, усталое, и Ван Ю увидел, что она плакала. Следы слёз ещё не высохли на щеках, и родинка блестела, как капля.

— Что случилось? — спросил он, подойдя.

— Ничего, — ответила Бора и вытерла щёку рукавом. — Госпожа Пак отругала меня за треснувшую пиалу. Сказала, что вычтет из месячной платы. Это всё.

— Ты плачешь из-за пиалы?

— Я плачу не из-за пиалы. Я плачу, потому что не могу плакать из-за того, из-за чего хочу.

Ван Ю сел рядом. Колодец был холодный, камень забирал тепло, но между ними — между его плечом и её плечом — было расстояние в ладонь, и оно горело, как раскалённое железо.

— Из-за чего ты хочешь плакать?

— Из-за вас, — сказала Бора просто, и в этом «из-за вас» не было ни упрёка, ни просьбы. Только усталость.

Ван Ю не ответил. Он протянул руку и убрал прядь волос с её лица — медленно, как будто касался чего-то хрупкого, что может рассыпаться от неосторожного движения. Бора замерла. Его пальцы коснулись её виска, потом щеки, потом родинки, и она закрыла глаза.

— Не надо, — прошептала она.

— Если начнёте, я не смогу остановиться.

— Тогда не останавливайся, — сказал он.

Она открыла глаза и посмотрела на него — и в её взгляде не было ни покорности, ни страха, только то, что бывает в глазах человека, который прыгает с обрыва и знает, что внизу — вода или камни, но не знает, что именно.

Он поцеловал её.

Это был первый поцелуй в его жизни — настоящий, не ритуальный, не формальный. Её губы были солёные от слёз и тёплые, и она целовала его так, как будто это единственное, что ей принадлежит в этом мире и единственное, что она может отдать. Ван Ю обнял её, и она прижалась к нему — не как придворная дама, не как наложница из книжек, а как человек, который девять месяцев нёс ведра и молчал, и наконец нашёл кого-то, перед кем можно не молчать.

— Не здесь, — прошептала Бора, отстранившись. — Не у колодца.

Он взял её за руку и повёл — не в свои покои, не в восточное крыло, а в малый домик садовника, стоявший в дальнем углу сада. Садовник старый Чжан уехал к семье на три дня, и домик пустовал. Внутри пахло землёй и сухой травой. На полу лежала циновка, грубая, не дворцовая. В окно лился лунный свет.

Они стояли у циновки, и Бора расстегнула его халат — руки дрожали, но не от страха, от чего-то другого, чего она не могла назвать. Ван Ю снял с неё простое платье — медленно, как будто разворачивал свиток, на котором написано самое важное, что он когда-либо читал. Её тело было не таким, как у принцесс из книг: тонкое, но с мозолями на коленях, со следами от ведра на предплечьях, с шершавой кожей на локтях. Для него она была прекраснее всех — потому что она была настоящая.

Они любили друг друга молча. Без слов, потому что слова были лишни, потому что всё, что нужно было сказать, они уже сказали — он у колодца, она у стены, оба в тишине ночного

сада. На циновке в домике садовника, в лунном свете, они были не император и служанка, а просто двое — мужчина и женщина, молодые, одинокие, испуганные, живые.

После, когда они лежали рядом и лунный свет медленно двигался по полу, Бора сказала:

— Теперь будет хуже.

— Почему?

— Потому что раньше я могла делать вид, что ничего нет. Теперь — не могу. Теперь я буду знать, каково это — быть с вами. И каждый раз, когда вы пройдёте мимо меня в коридоре, я буду помнить.

Ван Ю повернулся к ней и провёл пальцем по её щеке — от виска до подбородка, через родинку.

— Я не пройду мимо.

— Пройдёте, — сказала она. — Вы император. Вы будете проходить мимо каждый день. И я буду кланяться. И мы оба будем знать, что за поклоном — это.

Она сказала это без горечи. С той же спокойной ясностью, с которой говорила обо всём. И Ван Ю подумал, что в этой девушке есть что-то, чего нет ни в ком из тех, кого он знает: она видит правду и не отворачивается от неё. Даже когда правда ранит.

Он поцеловал родинку на её щеке и сказал:

— Я найду способ.

Бора не ответила. Она только закрыла глаза и прижалась к нему, и до утра они не сказали больше ни слова, потому что некоторые ночи не нуждаются в словах — им нужно только присутствие, дыхание и тепло другого тела рядом.

Через три дня после той ночи Ван Ю сделал ошибку.

Он допустил её не в постели и не в саду, а на совете — где ошибки стоили дороже. На утреннем совете, когда обсуждали детали свадебной церемонии, астролог Чхве Сон доложил: дата выбрана, час выбран, звёзды благоприятствуют. Им Гван-джэ кивнул. Советники согласились. И Ван Ю, который не спал прошлую ночь и был в теле Боры и в мыслях о ней, произнёс:

— А если перенести свадьбу?

Тишина.

Не та тишина, которая бывает, когда слова оседают, как пыль. Тишина, которая бывает, когда в комнате падает стекло и все смотрят на осколки, не веря.

Им Гван-джэ повернулся к нему — медленно, с тем движением, от которого молодые чиновники бледнели.

— Перенести, ваше величество?

— Да. Может быть, через месяц. Или два. Чтобы завершить дела в Чолла. Чтобы…

— Ваше величество, — перебил Им Гван-джэ, и это было первое и последнее за все полгода, когда он перебил императора, — свадьба — это не церемония. Это договор.

Договор с Цзинь, скреплённый печатями. Дата оговорена в договоре. Перенос даты — это нарушение договора. Нарушение договора — это конец перемирия. Конец перемирия — это война. Вы хотите войны, ваше величество?

Ван Ю открыл рот и закрыл. Он понимал. Каждое слово Им Гван-джэ было правдой, и каждое слово было цепью, замкнувшейся на его шее.

— Я не хочу войны, — сказал он.

— Тогда свадьба — в срок, — ответил Им Гван-джэ. И больше ничего не сказал. Но его взгляд — долгий, немигающий, пронизывающий — говорил больше, чем слова. Этот взгляд говорил: «Я знаю. Я знаю, почему вы спросили. И я предупреждаю: не смейте».

После совета Им Гван-джэ подошёл к Ван Ю наедине. Они стояли в малом зале, и слуги были отпущены. Старый министр впервые за полгода. Он стоял прямо и смотрел императору в глаза.

— Ваше величество, — сказал он, и голос его был тихий, как нож, который режет шёлк, — я служил вашему отцу двадцать лет. Я держал это государство, когда оно готово было рассыпаться, как сухой песок. Я организовал мир с Цзинь. Я выбрал вас на трон не потому, что вы лучший, а потому, что вы — самый удобный. И сейчас я спрашиваю вас — не как министр, а как человек, который старше вас втрое: что происходит?

Ван Ю молчал.

— Вы не спите, — продолжал Им Гван-джэ. — Вы рассеянны на совете. Вы хотите перенести свадьбу. Вы ходите по ночам. Вы думаете, что я не вижу? Я вижу всё. Каждый шаг, каждый вздох, каждый взгляд. Я не спрашиваю, кто она. Я спрашиваю: вы понимаете, что делаете?

— Я понимаю, — сказал Ван Ю, и голос его был хриплым.

— Нет, — ответил Им Гван-джэ. — Вы не понимаете. Вы думаете, что это любовь. Может быть, это и любовь — я не спорю, я был молодым и знаю, каково это. Но любовь — это огонь, ваше величество. А вы — не человек. Вы — трон. И если трон загорится, сгорит не только он. Сгорит страна. Сгорит мир с Цзинь. Сгорит Арым, которая провела девять лет в чужом дворце ради этого мира. Сгорит всё.

Ван Ю стоял и слушал, и каждое слово входило в него, как гвоздь.

— Ваше величество, — сказал Им Гван-джэ, и голос его стал мягче — не от жалости, а от усталости, — я не прошу вас не чувствовать. Я прошу вас не действовать по чувству. Возьмите себя в руки. Поженитесь. Исполните долг. А потом — после, через год, через два — устройте всё, как хотите. Сделайте её наложницей, дайте ей покои, переведите из служанок. Я закрою глаза. Но не сейчас. Не до свадьбы. Не сейчас.

— А если я не смогу? — спросил Ван Ю, и в этом вопросе было столько боли, что Им Гван-джэ замолчал.

Старый министр посмотрел на молодого императора — на его бледное лицо, на тёмные круги под глазами, на руки, которые подрагивали — и впервые за двадцать лет увидел перед собой не «удобного» правителя, не «чистый лист», а восемнадцатилетнего мальчишку, которого посадили на трон, оторвали от гор, от книг, от всего, что он любил, и сказали: правь, женись, не чувствуй.

— Сможете, — сказал Им Гван-джэ. — Потому что у вас нет выбора. Выбор есть у тех, кто не на троне. Вы — на троне. А трон не чувствует.

Ван Ю опустил голову. Он стоял так долго — минуту, может, две. Потом поднял голову, посмотрел на Им Гван-джэ и сказал:

— Хорошо. Свадьба — в срок. Я не подведу.

Им Гван-джэ кивнул. Он не улыбнулся, не выразил облегчения. Он просто кивнул, как человек, который получил то, что ему нужно, и знает, что цена этой уступки — чья-то боль. Но боль — это то, что министр умел откладывать в сторону.

Он вышел, и в дверях обернулся в последний раз.

— Ваше величество, — сказал он, — ещё одно. Я велел перевести служанку Бору из восточного крыла в кухню западного двора. Она будет подавать чай не принцессе, а конюхам. Это не наказание. Это… предосторожность.

Ван Ю вскинул голову.

— Министр…

— Предосторожность, — повторил Им Гван-джэ. — Для неё. Для вас. Для государства. Ваше величество, поверьте: так лучше для всех.

Он ушёл. Ван Ю стоял в пустом зале, и руки его сжались в кулаки так, что ногти впились в ладони. Он хотел кричать. Хотел бросить что-нибудь, разнести, разрушить. Хотел побежать

в западный двор, найти Бору, схватить за руку и увести — куда? Куда можно увести человека из дворца, который и есть тюрьма?

Но он не побежал. Он стоял. Дышал. Считал вдохи, как учил Ким Сок: «Когда гнев приходит, считай до десяти. Когда приходит отчаяние — до ста».

Он досчитал до ста. Гнев не ушёл. Но он взял его в руки, как берут горячий уголь — голыми, обжигаясь, — и сжал. И не бросил. Потому что бросить — значит сжечь всё вокруг.

Через шесть дней после этого, когда Ван Ю шёл по коридору дворца, он увидел Бору. Она несла ведро — другое ведро, в другом дворе, по другому коридору. Но та же походка, те же руки, та же родинка.

Она увидела его. Остановилась. Поклонилась — низко, как кланяются служанки императору. По-настоящему низко, не как в первую ночь, когда поклон был равному.

Ван Ю прошёл мимо. Он не остановился. Не посмотрел. Не сказал ни слова. Он прошёл мимо, и каждый шаг стоил ему боли, которую он никогда раньше не испытывал — боли не тела, а чего-то глубже, того, что не вылечить отваром и не унять травами.

Бора выпрямилась. Она стояла в коридоре одна, с ведром, и смотрела ему вслед. Лицо её не дрогнуло. Она не заплакала. Она стояла и смотрела, как император Чосона уходит по коридору, и тень его становится меньше, меньше, пока не исчезает за поворотом.

Потом она подняла ведро и пошла дальше. Потому что служанки не ждут. Они работают.

А где-то в восточном крыле Арым играла на каягым и не знала, что в её судьбу уже вбежала трещина — тонкая, как волос, — которая через несколько месяцев расколет всё.

Глава 4. Змея в нефритовом саду

Семь дней до свадьбы.

Дворец гудел, как улей перед роением. Со всех провинций прибывали гости: наместники, начальники уездов, командующие гарнизонов, учёные из Сонгюнквана, старейшины великих кланов — Им, Юн, Ким, Пак. Каждый вёз свиту, каждый требовал покои, еду, обслуживание. Дворцовая канцелярия работала сутками, и начальник её, бледный от бессонницы Чо Гван-му, третий день подряд спал на столе, подложив под голову стопку указов.

Свадебные одежды шили в трёх мастерских одновременно. Главный портной, старый Юн Сон-иль, человек с руками, которые творили чудеса с шёлком, лично выкраивал церемониальное платье для принцессы — из белого шёлка с вышивкой феникса, которого по обычаю должны были сшивать девять дней девять мастериц, работая посменно. Платье императора было готово раньше — тёмно-красное, с золотыми драконами, чешуйки которых были вышиты настоящей золотой нитью, привезённой специально из Мин. Одно только это платье стоило столько, сколько вся северная провинция собирала налогов за месяц.

Астрологи проверяли и перепроверяли час. Главный астролог Чхве Сон, худой как жердь старик с глазами, которые смотрели всегда чуть выше собеседника — как будто он видел за человеком небо, — трижды пересчитал положение звёзд и трижды подтвердил: утро четвёртого дня одиннадцатой луны, час Змеи. Благоприятствует союзу, миротворчеству, потомству. Но есть предостережение: звезда Цинь-Лун, Дракон-Меч, стоит близко к лунному дому — значит, в союзе будет скрытый конфликт, нож, спрятанный в шёлке.

— Нож в шёлке — это образно? — спросил Ван Ю, когда Чхве Сон доложил на совете.

— Ваше величество, — ответил астролог, — я говорю о звёздах. Звёзды не лгут. Но они не уточняют. Нож может быть словом, может быть поступком, может быть человеком. Я лишь говорю: будьте осторожны с тем, что скрыто.

Им Гван-джэ, сидевший по правую руку, не шевельнулся. Но Ван Ю заметил, что пальцы его, лежавшие на колене, чуть сжались — едва заметно, как будто он поймал муху и не хотел, чтобы кто-то видел.

Пока двор готовился к свадьбе, государственные дела не останавливались — они, в отличие от людей, не знали праздников.

Изменения, которые Ван Ю провёл после совета о голоде, дали первые ростки — пока не урожай, а именно ростки: новый начальник провинции Чолла, старый Чхве Мин, прибыл на место и тут же обнаружил, что из тридцати двух амбаров резерва в провинции фактически заполнены только девять. Остальные — бумажные: в них числилось зерно, которого не было, а числилось оно потому, что предыдущий начальник продавал его торговцам на юге и клал разницу в карман.

Чхве Мин отправил донесение — не через канцелярию, где письма могли «потеряться», а через собственного гонца, лично Ван Ю. Донесение было короткое: «Амбары пусты. Зерно украдено. Виновных — двенадцать. Жду решения».

Ван Ю прочитал и положил на стол. Потом перечитал. Потом вызвал Ким Сока.

— Учитель, — сказал он, — двенадцать чиновников украли резервное зерно, пока люди голодали. Что мне с ними делать?

Ким Сок помолчал. Он знал ответ, но хотел, чтобы ученик пришёл к нему сам.

— По закону, — сказал он, — хищение казённого зерна в военное время карается смертью. Но перемирие — не мир. Закон о военном времени применим.

— А по совести?

— По совести — они убили людей. Каждый мешок зерна, который они украли, — это жизнь, которую они отняли. Но, ваше величество, если вы казните двенадцать чиновников за неделю до свадьбы, это вызовет… разговоры.

— Какие разговоры?

— Что молодой император начал правление с крови. Что он жесток. Что клан Им, из которого происходят семь из двенадцати виновных, будет недоволен. А недовольный клан Им — это недовольный Им Гван-джэ.

Ван Ю встал и подошёл к окну. Двор внизу был полон людей: слуги носили тюки, плотники сколачивали помост для церемонии, садовники подстригали кусты. Всё — для свадьбы. А где-то в Чолла люди ели кору.

— Я не могу казнить их сейчас, — сказал он наконец. — Не из-за свадьбы. Из-за министра. Я только что пришёл с ним к соглашению. Казнь его людей — это удар по нему. А я не могу драться на два фронта: с голодом и с собственным министром.

— Тогда — увольнение и конфискация, — предложил Ким Сок. — Лишить должностей, конфисковать имущество в пользу казны, отправить в ссылку. Не смерть, но наказание. И сигнал остальным: воровство будет наказано, даже если ты из клана Им.

Ван Ю кивнул. Он написал указ собственноручно — не доверив канцелярии — и передал Чхве Мину через того же гонца. Указ был короткий, ясный и беспощадный в своей сухости: «Уволить. Конфисковать. Сослать. Имущество — в амбары Чолла».

Им Гван-джэ прочитал указ в тот же вечер. Он не пришёл к императору. Он не прислал записку. Он просто молча проглотил — как проглатывает лекарство, которое горькое, но необходимое. Он слишком хорошо понимал: если он выступит против, Ван Ю пойдёт дальше — и тогда уже не увольнение, а плаха. Старый министр умел проигрывать красиво. Он проиграл двенадцать чиновников, но сохранил лицо — и власть.

Но он запомнил. Им Гван-джэ запоминал всё.

Одновременно с делами Чолла пришла весть с северной границы, от командующего гарнизоном Канвон, генерала Ли Чжэ-хо. Вестовой ехал три дня, загнал двух лошадей и прибыл во дворец ночью, когда все спали. Его приняли в караульном помещении, накормили, и только утром Ван Ю прочитал донесение.

Письмо генерала Ли было написано рукой человека, который привык писать коротко: «Цзиньские разъезды пересекли границу в районе Кэсона. Три отряда, по двадцать всадников. Не нападают. Разведывают. Двигаются вдоль реки Имджин на юг. Прошу указаний: преследовать или наблюдать?»

Ван Ю вызвал Им Гван-джэ. На этот раз он не ждал утреннего совета. Он послал за министром в полночь, и Им Гван-джэ пришёл — в парадном халате, как будто и не ложился.

— Прочитайте, — сказал Ван Ю, протянув письмо.

Им Гван-джэ прочитал. Лицо его не изменилось.

— Разведка, — сказал он. — Не нападение. Они проверяют, выполняем ли мы договор. Или — ищут повод его нарушить.

— Или ждут свадьбы, чтобы понять, стоит ли её соблюдать, — добавил Ван Ю. — Если свадьба состоится — отойдут. Если нет — начнут наступление.

— Именно, — кивнул Им Гван-джэ.

— Поэтому, ваше величество, свадьба должна состояться. Любой ценой.

— Любой? — переспросил Ван Ю, и в голосе его было что-то, что заставило министра посмотреть на него внимательно.

— Любой, — повторил Им Гван-джэ. — Ваше величество, я понимаю, о чём вы думаете. Но поверьте: то, что вы чувствуете, — это ваше. А то, что произойдёт, если договор рухнет, — это всех. Десятки тысяч жизней. Война, которая начнётся снова, будет хуже первой, потому что обе стороны теперь озлоблены. Девять лет крови — это не забыть за одну свадьбу.

Ван Ю молчал. Он смотрел на карту, висевшую на стене, — карту Чосона и Цзинь, с границей, прочерченной тонкой красной линией по реке Имджин. Тонкой, как нить, которую достаточно перерезать.

— Велите генералу Ли наблюдать, — сказал он наконец. — Не преследовать. Не провоцировать. Пусть следят и докладывают каждый день.

Им Гван-джэ поклонился и вышел. В дверях он остановился.

— Ваше величество, — сказал он, не оборачиваясь, — служанка Бора. Я перевёл её в западный двор, как говорил. Но я слышал, что она… иногда возвращается в восточное крыло. К принцессе.

— К принцессе? — Ван Ю постарался, чтобы голос звучал ровно.

— Да. Говорят, принцесса просит её вернуть. Говорит, что привыкла к ней. Что никто не подаёт чай так, как она.

— И?

— И я хочу знать, ваше величество, стоит ли разрешить. Если принцесса просит — отказать нельзя. Она не простая служанка для принцессы. Она — единственный человек во дворце, с которым Арым говорит по-настоящему.

Ван Ю не ответил. Им Гван-джэ подождал и вышел, и шаги его удалялись по коридору — ровные, спокойные, неспешные. Шаги человека, который знал больше, чем говорил, и говорил меньше, чем знал.

Арым узнала в среду, за шесть дней до свадьбы. Не от госпожи Пак, которая была преданна и молчалива, как камень. Не от Им Гван-джэ, который видел всё, но умел держать рот закрытым. Она узнала от служанки Сунь-а — той самой, полной, румяной, с красными щеками, которая как-то видела Ван Ю и Бору у колодца и которая теперь не могла держать язык за зубами.

Случилось это в прачечной. Арым не ходила в прачечную — это было ниже её достоинства. Но она ходила в малый сад позади восточного крыла, где сушили бельё на верёвках, и туда же, по утрам, выходила Сунь-а — развешивать простыни.

Арым любила этот сад: он был маленький, заросший, с одной старой грушей, и здесь она могла побыть одна, без госпожи Пак, без церемоний, без взгляда двора.

Сунь-а не заметила её. Она развешивала простыни и говорила — говорила сама с собой, как говорят люди, которые долго молчали и им нужно выговориться, даже если некому.

— …дура, вот что. Думает, император на ней женится. Служанка — и император. Тьфу. Зато госпожа Пак теперь злится, пиалы бьёт, а Бора ходит с видом, будто ей всё равно. А вчера я видела, как она из сада возвращалась на рассвете. На рассвете! В сапогах мужских, я видела, следы на траве. Мужские сапоги. В восточном крыле. У принцессы. Вот я и говорю: она не просто чай подаёт…

Арым стояла за грушей и не двигалась. Сердце её билось, но лицо оставалось спокойным — та самая выучка, та самая нефритовая маска, которую госпожа Пак вытачивала в ней девять лет. Ни один мускул на лице не дрогнул. Только руки, спрятанные в рукава, сжались так, что ногти впились в ладони — точно так же, как у Ван Ю, когда Им Гван-джэ перевёл Бору в западный двор.

Сунь-а продолжала болтать, не зная, что её слышит принцесса:

— …а ещё говорят, будто Им Гван-джэ знает и молчит. Потому что свадьба. Говорят, он её перевёл, а она всё равно возвращается, потому что император велел. Говорят, он ходит к ней в западный двор по ночам.

— Кто говорит? — голос Арым прозвучал тихо, но Сунь-а подпрыгнула, словно её ударили.

Она обернулась и побледнела. Простыня выскользнула из рук и упала в грязь. Арым стояла у груши, прямая, в платье цвета слоновой кости, с единственной шпилькой в волосах. Лицо её было таким спокойным, что от этого покоя веяло холодом — как от зимней реки, подо льдом которой течёт быстрая вода.

— Ваше… ваше высочество… — Сунь-а упала на колени, и голос её задрожал. — Я не… я просто…

— Встань, — сказала Арым. Голос был ровный, без гнева, без слёз, и именно от этой ровности Сунь-а трясло сильнее, чем от крика. — Встань и расскажи мне всё. С начала. Кто говорил. Что говорил. Когда.

Сунь-а встала. Губы её дрожали, но она заговорила — потому что не могла не заговорить, потому что страх перед принцессой был сильнее страха перед Боре или кем бы то ни было. Она рассказала всё, что знала: что Бора и император встречаются у колодца, что Бора возвращается на рассвете, что Им Гван-джэ перевёл Бору в западный двор, но она возвращается, что служанки шепчутся уже несколько недель, что Бора ходит с красными глазами и молчит, что император проходит мимо неё в коридорах и не смотрит, но все видят, что не смотрит — потому что не смотреть так, как он не смотрит, может только тот, кто смотрел раньше слишком много.

Арым слушала. Не перебивала. Не задавала лишних вопросов. Она стояла и слушала, и внутри неё что-то ломалось — не резко, не с треском, а медленно, как ломается лёд на реке в начале весны: сначала трещина, потом ещё одна, потом вода просачивается, и вдруг — обвал.

Когда Сунь-а закончила, Арым помолчала. Потом сказала:

— Ты рассказывала это кому-нибудь ещё?

— Нет, ваше высочество! Клянусь! Только вам. Я… я не знала, что вы здесь.

— Теперь знаешь, — Арым посмотрела на неё. — Слушай внимательно. Ты никому не скажешь о том, что рассказала мне. Никому. Если я услышу, что ты говорила — даже с рыбой в пруду — я отправлю тебя в деревню, из которой тебя привезли. Ты поняла?

— Да, ваше высочество.

— Иди.

Сунь-а убежала, оставив простыню в грязи. Арым стояла одна. Она подошла к груше, прислонилась спиной к стволу и закрыла глаза. Она не плакала. Слёзы — это роскошь, которую она себе не позволяла. Девять лет во дворце научили её одному: слёзы — это слабость, а слабость — это смерть. Она научилась плакать внутри, так, чтобы никто не видел.

«Он не любит меня, — подумала она. — Я знала. Я знала с самого начала. С той встречи в павильоне, когда он сказал: „Я не знаю, что чувствую “. Мужчина, который не знает, что чувствует, — уже знает. Он просто не хочет сказать.»

Она стояла так долго — может, минуту, может, десять. Потом открыла глаза, выпрямилась, поправила шпильку и пошла к себе. Походка была ровная, спина — прямая. Если бы кто-то видел её в этот момент, он бы сказал: «Принцесса идёт на урок каллиграфии». Никто бы не сказал: «Принцесса идёт с разбитым сердцем».

В тот же вечер Арым послала записку Им Гван-джэ.

Записка была короткая, написанная её безупречным почерком: «Первый министр. Прошу аудиенции. Завтра, до рассвета, в павильоне Кёнхе-ру. Дело государственной важности. Принцесса Арым».

Им Гван-джэ прочитал записку и понял: «Государственной важности» — значит, не о свадебных платьях. «До рассвета» — значит, тайно, без свидетелей. «Павильон Кёнхе-ру» — место их первой встречи с Соль Чжином, где решалась судьба двух государств. Принцесса выбрала это место не случайно. Она хотела сказать министру: то, о чём я буду говорить, такого же масштаба, как тот договор.

Старый министр не спал в эту ночь. Он сидел в своём кабинете, перебирал свитки и думал. Он знал, о чём пойдёт речь. Он знал с того момента, как перевёл Бору в западный двор — и понял, что перевод не помог. Слухи во дворце расходятся быстрее, чем дым от пожара, и принцесса, живущая среди служанок, не могла не услышать. Вопрос был не в том, услышит ли она, а в том, когда и что сделает после.

«Вот и пришло», — подумал Им Гван-джэ. Он не боялся. Он давно перестал бояться чего-либо кроме одного — что государство, которое он держал на плечах двадцать лет, рухнет из-за того, что восемнадцатилетний мальчишка не смог удержать сердце в штанах. Грубая мысль, но Им Гван-джэ был человек грубых истин под шёлковой поверхностью.

Они встретились до рассвета. Павильон Кёнхе-ру стоял пустой, тёмный, и только два фонаря горели — один на столе, другой у входа. Арым пришла первой. Она сидела в том же месте, где, когда-то сидел Соль Чжин, — спиной к пруду, лицом к входу. Она была в тёмном платье — не церемониальном, простом, с высоким воротом. Волосы убраны, шпилька та же, белого нефрита. Лицо — спокойное, замкнутое, как закрытая книга.

Им Гван-джэ вошёл без стука. Он не поклонился — не потому что не уважал, а потому что принцесса Цзинь, выросшая в его дворце, была для него чем-то средним между гостьей и пленницей, и он не знал, какой степени поклон уместен. Он сел напротив, и они смотрели друг на друга в свете фонаря — два человека, которые держали мир, а теперь должны были говорить о том, что этот мир разрушает.

— Министр, — сказала Арым, — я знаю про Бору.

Им Гван-джэ не вздрогнул. Он кивнул — медленно, как кивают, подтверждая то, что и так известно.

— Я знаю, что вы знаете, ваше высочество.

— Вы знали и молчали?

— Я знал и действовал. Я перевёл служанку в западный двор. Я предупредил императора. Я сделал всё, что мог, не вынося дело на совет.

— И этого было недостаточно, — сказала Арым, и голос её был ровный, но в нём звучала нота, которую Им Гван-джэ услышал не сразу — не обида, не гнев, а что-то более опасное: разочарование.

— Они продолжают видеться. Служанки говорят. Двор шепчется. А через шесть дней я выхожу замуж за человека, который любит служанку. И вы — первый министр, который устроил этот брак — молчите.

Им Гван-джэ помолчал. Потом сказал:

— Ваше высочество, я не молчу. Я делаю. Но я не всесилен. Император — не марионетка. Я могу советовать, могу предупреждать, могу перемещать людей. Но я не могу залезть ему в сердце и вырвать оттуда то, что там выросло. Если бы мог — сделал бы.

— Почему не казнили её? — спросила Арым, и в этом вопросе была не жестокость, а расчёт — холодный, ясный, как лезвие ножа. — Одна служанка, без клана, без имени. Казнить — и конец.

Им Гван-джэ посмотрел на неё — долго, внимательно, и в его взгляде мелькнуло что-то, чего Арым не ожидала: уважение. Не сочувствие, не жалость — уважение к девушке, которая в шестнадцать лет задала вопрос, который задают взрослые политики.

— Ваше высочество, — сказал он, — если я казню служанку, император возненавидит вас. Не меня — вас. Потому что он решит, что это вы приказали. А если он вас возненавидит, свадьба состоится по форме, но не по сути. Он будет вашим мужем на бумаге и чужим человеком в жизни. А вам нужно не просто выйти замуж — вам нужно, чтобы он был на вашей стороне. Чтобы, когда придёт время, вы могли опереться на него. А этого не будет, если между вами — труп.

Арым слушала, и в её глазах что-то менялось. Не сразу — медленно, как меняется цвет неба перед рассветом. Сначала — тьма. Потом — серый. Потом — первый луч.

— Вы правы, — сказала она наконец, и это стоило ей усилия, потому что признать правоту, когда хочется кричать, — труднее, чем промолчать. — Казнь — не выход. Но что тогда?

— Время, — ответил Им Гван-джэ. — Ваше высочество, вы выросли во дворце. Вы знаете, как это работает. Страсть — это огонь. Огонь горит ярко, но недолго. Дайте ему время. Дайте свадьбу. Дайте обязанности, советы, дела государства, беременность, рождение наследника — и страсть к служанке станет тем, чем она должна стать: воспоминанием. Мужчины не уходят от жён ради служанок. Они уходят от жён, когда жёны не дают им того, что нужно. Дайте ему то, что нужно, — и служанка станет тенью.

Арым посмотрела на него, и в её взгляде был вопрос, который она не произнесла вслух: «А если не станет тенью? А если станет пожаром?» Но она не спросила, потому что знала: Им Гван-джэ не ответит. Или ответит — но не так, как ей хотелось бы.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.